

К.В. Анисимов

**«...В РАЗОРВАННОЙ КИБИТКЕ, ПОСРЕДИ КУР
И ДОБРЫХ БАШКИРЦЕВ».**

**Л.Н. ТОЛСТОЙ ИНВЕРТИРУЕТ
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОРИЕНТАЛИЗМ
(ТВОРЧЕСТВО И ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВО
В БАШКИРСКОЙ СТЕПИ)¹**

В статье рассматривается геокультурное преломление толстовской установки на подрыв состоятельности знаковой и письменной деятельности. Пространством для постановки очередного эксперимента в этой области предстает башкирская степь, где писатель не раз бывал «на кумысе». Быт башкир привлекается романистом в качестве инструмента для критики главных положений ориентализма и европоцентризма XIX в. (знания-власти, письма как знаковой подмены и «отражения» реальности, символов доминирования и гибридизации). В фокусе анализа оказываются жизнетворческое поведение, материализующее отвлеченный знак в непосредственности и «телесности» жеста, а также нарративные практики (в качестве примера привлечен роман «Анна Каренина»), в которых «незванные» башкиры приближаются к миру героев, олицетворяющих «живую жизнь».

Ключевые слова: Л.Н. Толстой, роман «Анна Каренина», жизнетворчество, ориентализм, постколониализм, гибридизация, семиотика, нарратология, метатекст.

В пореформенное время историческая интрига с русским продвижением в регионе восточного Поволжья и Южного Урала состояла в подключении территорий, на которых кочевали еще не оседлые башкиры, к административному распределению и купле-продаже земли. Отчуждение ранее неприкосновенных владений было разрешено специальным Положением от 10 февраля 1869 г. [1. С. 355]. Таким образом, пространство фронта, на котором действовали специальные режимы управления, вводилось в число так называемых «внутренних губерний». Процесс этот, впрочем, был небыстрым и противоречивым; многочисленные нарушения, неизбежно сопровождавшие замену «естественного» образа жизни госу-

¹ Статья выполнена в рамках интеграционного проекта УрО РАН «Формирование национальных художественных систем пермских литератур в социокультурном ландшафте России конца XIX – первой половины XX века».

дарственным принуждением, жестокой экономической целесообразностью, а нередко и элементарным произволом, сразу же попали в фокус левой русской публицистики – отметим здесь работы народников Ф.Д. Нефёдова и Г.И. Успенского, относящиеся к 1880–1890-м гг.¹, в которых драма вхождения кочевого этноса в структуру модерной государственности освещена порой в панических интонациях (характерно заглавие очерка Успенского «Башкир пропадает»).

Толстой, знаток края, купивший в 1871 г. имение в Бузулукском уезде², который с конца XVIII столетия в ходе разных территориальных переделов принадлежал то Самарской, то Оренбургской губерниям, рассмотрел проблемы башкир иначе. Он глубоко осветил многие экономические и, как следствие, нравственные передряги процессов крестьянской колонизации и в целом «огосударствления» этого края, никогда, впрочем, не преследуя эту цель как главную для себя. Башкирский опыт толстовских поездок «на кумыс» отчетливо обрёл два аспекта: жизнетворческий и художественный, резко контрастирующие с писаниями народников, с которыми на уровне общей темы романист совпадал порой буквально. Например, очерк Нефёдова «На кумысе» действительно посвящен башкирам, но дневниковые записи Толстого об аналогичном пребывании «на кумысе» подчеркнута ориентированы на сознание самого автора. Похожим образом действует и художественная логика: в зарисовках депутации «инородцев» в «Анне Карениной», а также увлечений А.А. Каренина государственным управлением в степи башкиры, о которых, собственно, и идет речь³, предстают вообще неназванными – насколько в дневниках находящегося посреди башкир Толстого интересуется он сам, настолько же и в данном случае автора волнует главным образом его герой.

¹ Алгоритм лихоимств раскрыт уфимским публицистом и краеведом Н.В. Ремезовым. См.: [2. С. 24–26; 31–33]. Сделанные буквально «с натуры» очерковые зарисовки на тему русских переселенцев и их взаимоотношений с башкирами приобрели немалую известность. См. также другую работу автора [3], в которой скупка башкирских земель рассматривается на примере конкретных жизненных историй.

² Как известно, писатель посещал степную часть Самарской губернии десять раз. Весной 1862 г., накануне первой поездки, Толстой заподозрил у себя начинающийся туберкулез и по совету врача и будущего тестя А.Е. Берса отправился на кумысолечение в приволжские степи. Второе путешествие, вызванное теми же причинами, состоялось летом 1871 г.

³ В числе прототипов героя был П.А. Валуев, который в начале 1870-х гг. был министром государственных имуществ, а затем ушел в отставку после скандалов с хищениями башкирских земель.

Основная задача работы заключается в том, чтобы показать приемы этой интериоризации Толстым башкирской жизни, интериоризации, повторим, направленной по двум путям – к жизне-творческому эксперименту и романной поэтике. На подрыв практик европейского ориентализма, т.е. уничтожение всякой знаковой дистанции по отношению к этническому Другому, обращали внимание С. Лейтон и Б.А. Успенский, привлекая материал знаменитых «кавказских» повестей писателя [4–5]. Башкирская тема в этом теоретическом аспекте пока находится вне поля зрения исследователей¹.

* * *

Толстовское понимание колонизационных процессов регулировалось несколькими тезисами, принципиально связанными с картиной мира самого художника.

В отличие от современников, отталкивавшихся от социальной коллизии и размещавших свою оценочную позицию в ее пространстве, Толстой точкой отсчета полагал философию и психологию, средоточием которых была экзистенциальная проблема смерти. В своей поздней работе о писателе И. Бунин точно отметил, что для Толстого «если есть бессмертие, то только в безличности» [10. С. 140]. В этой перспективе единственная мысль, заключенная, например, в рассказе «Много ли человеку земли нужно» (1886), выполненном на башкирском материале, – это мысль о пагубности личного начала, в данном случае показанного на примере русского крестьянина, в котором выпячены черты индивидуальности, потенциально поглощающей Всё. А башкиры поданы здесь в свете безличного, потому они символизируют Истину, но исторически показаны как абстракция.

Внеисторическая по своей сути рефлексия смерти приводила тем не менее к конструктивной перестройке именно исторического нарратива: судьба башкир как один из эпизодов в жизни русского фронта волевым образом вписывалась в нравственный кругозор автора-моралиста. Так, начав в конце 1870-х гг. свою «Исповедь», сочинение, открывающее череду «моралистических» текстов, Толстой назвал свое турне «на кумыс» первым импульсом на пути к будущей критической ревизии социального мира, понимаемого как реальность, подчиненная ложным целям.

¹ Между тем в русле традиционной проблемы межнационального диалога интерес Толстого к Поволжью и Приуралью нашел отражение во множестве исследований культурологического и краеведческого характера. См., например: [6–9].

В продолжение года я занимался посредничеством, школами и журналом¹ и так измучился, от того особенно, что запутался, так мне тяжела стала борьба по посредничеству, так смутно проявлялась деятельность моя в школах, так противно мне стало мое влияние в журнале, состоявшее все в одном и том же – в желании учить всех и скрыть то, что я не знаю, чему учить, что я заболел более духовно, чем физически, – бросил все и поехал в степь к башкирам – дышать воздухом, пить кумыс и жить животной жизнью.

Вернувшись оттуда, я женился [11. С. 9–10].

Примечательно, что эта закономерность срабатывает и в обратном направлении – когда резкой историко-политической реинтерпретации подвергаются тексты, давно уже автоматизированно воспринимающиеся как отвлеченные нравственные обобщения. Так, в трактате «В чем моя вера?» заповедь Христа «возлюбите врагов ваших» конкретизируется именно как запрет межплеменных войн. Слово «враг» было понято Толстым-интерпретатором Евангелия буквально – как «иноплеменник».

Ближний на евангельском языке значит: земляк, человек, принадлежащий к одной народности. И потому, предполагая, что противоположение, которое выставляет Христос в этом месте, приводя слова закона: вам сказано: любите ближнего и ненавидь врага, состоит в противоположении между земляком и чужеземцем, спрашиваю себя, что такое враг по понятиям иудеев, и нахожу подтверждение своего предположения. Слово враг употребляется в Евангелиях почти всегда в смысле врагов не личных, но общих, народных <...>. Единственное число, в котором употреблено слово враг в этих стихах в выражении *ненавидь врага*, показывает мне, что здесь речь идет о враге народа. Единственное число означает совокупность вражеского народа. В Ветхом Завете понятие вражеского народа всегда выражается единственным числом [11. С. 364–365].

При философской «возгонке» проблема колонизации с ее неприемлемой для Толстого логикой доминирования заставила вывести за скобки идею власти – главного, по Э. Саиду, игрока всякого ориенталистского процесса, генерирующей в художественной литературе то, что Л. Вульфом, который следовал здесь за Саидом, было удачно названо «стилем интеллектуального обладания» [12. С. 40]. Вместо власти, символическому разрушению которой писатель всегда уде-

¹ Речь идет о журнале «Ясная Поляна».

лял пристальное внимание, в 60–70-е гг. им была предложена идея безличной (внесубъектной) силы движения, а сама колонизация в этой перспективе была уподоблена явлениям природы – в пору написания романа «Война и мир» с центральными для его поэтики органицистскими метафорами это был, в общем, закономерный и предсказуемый ход. Так, в записной книжке 1868 г., проблематика которой подводила к историософской части эпилога «Войны и мира», романист отметил главное, как ему казалось, тенденцию европейской истории:

В известном нам мире – стремление с северо-запада на юго-восток, умеряемое только плотностью населения и противудавлением других сил. Россия завоевывает Кавказ, Крым, Грузию и т. д. Франция удержала только Африку. Испания только Мексику. Сардиния Италию. Пруссия Германию. Северо-американские штаты юг. Англия весь запад. Швеция завоевала бы Европу, но давление России. <...> *Размещение есть вся задача истории.* Законы размещения и кочевания животных. Никто не скажет, что первый тетерев был Аттила; а отыскиваем общие причины. – Прогресс – свобода передвижения, быстрота передвижения, вытекает из перемещения, и только одно имеет это значение [13. С. 109–110].

Конечно, с особой силой звучат здесь выделенный курсивом тезис «Размещение есть вся задача истории» и замечательная фраза «Никто не скажет, что первый тетерев был тетерев Аттила».

* * *

Начнем анализ с освещения приемов толстовского житнетворчества «посреди кур и добрых башкирцев», как выразилась в послании к мужу от 14 июля 1871 г. С.А. Толстая [14. С. 192]. Первым делом отметим, что избранный писателем способ отдыха был радикальнее всех остальных – настолько, что даже издавшие виды народники, как, например, тот же Ф.Д. Нефедов, пасовали перед перспективой остаться надолго в степи, предпочитая для кумысолечения гостиницы вполне уже европеизированной Уфы.

Но для людей, привыкших хоть к какому-нибудь разнообразию в выборе пищи <...> лечение в кочевках является делом невозможным: целое лето надо есть одну баранину (барашка очень вкусного) без хлеба и обходиться исключительно посредством одних пальцев своих рук. Отсутствие самых элементарных удобств жизни заставляет вас предпочитать город или «заведение» лечению на степном приволье [15. С. 120].

Главным источником, связанным с первой, наиболее знаковой, поездкой Толстого «на кумыс», являются воспоминания Василия Морозова, вышедшие в издательстве «Посредник» в 1917 г. Бывший ученик яснополянской школы вспоминал лето 1862 г., когда он вместе со своим товарищем Черновым был взят молодым писателем в его первое путешествие к башкирам. Стратегия воспоминаний Морозова крайне характерна: став уже взрослым человеком, автор с неизжитым за многие годы удивлением крестьянского мальчишки описывает «странности» в поведении графа. По существу, вся поездка с ее первого шага – отправления – предстает как апробация будущего опрощения.

В пестрой фактографии первого путешествия выделяется несколько лейтмотивных линий, фиксация которых Морозовым позволяет проследить направления толстовского жизнетворческого экспериментаторства. Вспомним, что «Исповедь», ориентированная на Руссо, на первый план выдвинула концепт «животной жизни». Стремление Толстого прорваться сквозь завесу знаков и клише социального поведения позволяет увидеть в дневниковых записях о пребывании «на кумысе», например, проект будущего «Холстомера»: «Кумыс лучше никто не описал, как мужик, который на днях мне сказал, что *мы на траве*, – как лошади» [14. С. 182]. Напомним, что первым именем лошади Холстомера «по родословной» было «Мужик 1-й», а Холстомер – только прозвище «по-уличному».

– Да, я сын Любезного 1-го и Бабы. Имя мое по родословной Мужик 1-й. Я Мужик 1-й по родословной, я Холстомер по-уличному, прозванный так толпою за длинный и размашистый ход, равного которому не было в России [16. С. 13].

Параллелью к «животному» началу закономерно становится «детское» окружение писателя – на взгляд нейтрального наблюдателя, действительно, довольно странное. При этом «детское» словно будит в поведенческом репертуаре Толстого явно театральные приемы и анекдотические ситуации, в которые путешественники попадают сразу по выезде. Интересно, что сам романист отделяется лишь скупой записью в дневнике, лаконизм которой говорит о том, что со своей собственной точки зрения он ведет себя вполне заурядно. «Поехал в 3-м классе тихого поезда. Народа нет. В Твери история с билетами – извинения» [13. С. 40].

Но вот Морозов придерживается иного мнения, и посвящает «истории с билетами» несколько страниц. В Твери, вспоминает ме-

муарист, неряшливо одетый Толстой был принят начальством станции за простолюдина и оттерт в дальний конец очереди на получение багажа. Уязвленный молодой писатель был вынужден открыть карты, обнаружить себя, графа и автора нескольких уже прогремевших на всю Россию сочинений, чем ввел начальника станции в состояние, похожее на то, в каком пребывал Тонкий из знаменитого чеховского рассказа «Толстый и тонкий».

...Нам нужно было <...> получить багаж. Там шел какой-то беспорядок. Принимали, выдавали, торопились, выносили, но не нам. Лев Николаевич остановил одного багажного, подает ему квитанцию на получение багажа. Багажный обвел глазами и Льва Николаевича, и нас, и, не взяв квитанцию, сказал:

– Успеете, – видишь, сколько господ! – и юркнул. «Тут, мол, не до вас, ховралей, – нужно заработать!»

Лев Николаевич предложил другому и третьему, – все такой же ответ: «успеешь»!

Лев Николаевич начинал волноваться. Вот идет какой-то господин в форменном картузе, – видимо, начальник какой-то. Лев Николаевич останавливает его и заявляет ему претензию на багажных.

– Квитанции не берут и багажа не выдают, да еще грубят. Пожалуйста, поторопите их. Я еду с детьми, непривычными к дороге, у них головы кружатся.

Начальник взглянул на Льва Николаевича и нас и, повыся голос, сказал:

– Успеете, и дети ваши будут живы, не перемрут. Смотрите, все заняты, работают, – освободятся, тогда и вам выдадут. <...>

– Вы ночевать меня хотите оставить?

Начальник посмотрел еще на Льва Николаевича и нас, детей, не подозревая, с кем он говорит, и проговорил:

– Фу, какой тяжелый человек, шумиха!

Лев Николаевич начал горячиться и сорвался:

– Вы знаете, с кем говорите и кого оскорбляете? Я – граф Лев Толстой, – и Лев Николаевич назвал себя автором какого-то сочинения, не упомяну какого, и еще пригрозил начальнику станции, что он про него напишет в газеты.

Начальник станции вытаращил глаза и как в обмороке машинально опустил руки по швам с растопыренными пальцами.

– Виноват, виноват, простите, ваше сиятельство! – несвязно бормотал он.

Багаж наш явился как бы по щучьему велению <...>

Начальник, провожая нас до извозчиков и идя рядом со Львом Николаевичем, твердил одно и то же: «Простите, виноват». <...>

Начальник жаловался на беспокойство службы и нервное расстройство, семейный, пятеро детей, мать-старушка [17. С. 96–97].

Вероятнее всего, нарядом, пославшим ложный сигнал начальнику станции об общественном положении путешественника, было «поношенное пальто» Толстого, упомянув которое мемуарист специально подчеркнул: «Лев Николаевич никогда хорошо не одевался» [17. С. 92]. Здесь В.С. Морозов, конечно, неправ – ниже он, противореча себе, подчеркивает, что по прибытии в Москву Толстой делал визиты «каждый день в хорошем одеянии и в шляпе» [17. С. 95]. Однако в целом тенденция подмечена верно: выходец из крестьян и носитель соответствующего типа ментальности, Морозов не мог не обратить внимание на, как он выразился, «простоту и чудачества Льва Николаевича» [17. С. 88].

Точно так же, в полном соответствии со «словарем» и правилами народной культуры, эксцентричность писателя и графа в его нарядах трактуется как шутовство и скоморошество – характерен такой, например, диалог:

– Теперь я вам расскажу, что я надумал новенького, – сказал Лев Николаевич: – хочу бросить свое хозяйство, барскую жизнь, перейти на крестьянство, выстроить хату себе на краю деревни, женюсь на деревенской девке, буду работать, как вы, косить, пахать, во всякую работу.

– Что ж, батраком быть, людям на посмешище, – сказал Игнат.

– Зачем батраком, работать буду на себя, для своего хозяйства, для семьи. <...>

– А если над тобой будут смеяться: вот, мол, прогорелый барин Толстов, обнищал, сам работает, тебе не стыдно будет? – спросили мы. <...>

– Так я думаю: не велик смех работать, а велик смех и ругань за то, что я не работаю, живу лучше вас, мне стыдно. <...>

Похоже, всякий думал, что Лев Николаевич правду говорит или шутит – как можно из барина сделаться мужиком [17. С. 55–56].

Наконец, игровые мотивы в социальном поведении и в одежде прямо подводят жизнетворческую стратегию Толстого к игре как таковой.

В сценарии игры Толстой добивался перехода на эмоциональный «язык» новой для него среды – тем самым дезавуируя заложенный, казалось бы, в самой природе колонизационных и переселенческих процессов социальный и лингвистический конфликт.

...С некоторыми (башкирами. – К.А.) происходил все башкирские игры, и во всем он участвовал. И всякий его любил за свое, и это продолжалось каждый день за всё время, что мы там прожили [17. С. 104].

На первом месте в играх были те, что предполагали непосредственный телесный контакт: купание и борьба.

Частенько устраивал Лев Николаевич с башкирами игры. В играх принимали участие и большие и маленькие, и, конечно, мы с Черновым. Игры были такие: играли в чехарду. <...> Еще играли в игру, которая называется, как помню, по-башкирски «пшалойле». Сделан круг на земле, в кругу ямочка, несколько шаров, шары эти гнались палками в ямочку, из ямочки выбивался шар, за ним бегали, схватывали <...> смеху бывало много. Еще бывало Лев Николаевич боролся с башкирами. Бороться он был большой охотник. Он был сильный богатырь, и ему не находилось противников. Только один башкир был равный ему по силе, и Льву Николаевичу не удавалось его класть на землю, но и башкиру не удавалось Льва Николаевича положить [17. С. 108].

* * *

Вторым типом использования Толстым его башкирских впечатлений стало внедрение их в ткань художественных произведений. Наше внимание будет сосредоточено на ключевом примере: это «не-названные» башкиры, вошедшие в поле образа А.А. Каренина, одного из главных героев романа «Анна Каренина».

Вспомним, что на «низовом» уровне процесс, получивший в эти же годы название «народная колонизация», понимался Толстым как бесконфликтный. Степану Берсу, шурину и спутнику Толстого в поездке к башкирам 1871 г., принадлежит такое замечание:

Льву Николаевичу очень нравились отношения между местными крестьянами и магометанами. Взаимная веротерпимость и очень часто дружба между этими разными по вероисповеданиям лицами действительно свидетельствовали о свободе, в которой долго жило тамошнее население [18. С. 60].

Однако исторически предопределенное напряжение между двумя укладами – кочевым и приходящим ему на смену земледельческим – существовало: оно задавалось неумолимой логикой внутренней колонизации Урало-Поволжского региона. Сын писателя С.Л. Толстой вспоминает свои относящиеся к 1873 г. разговоры с башкиром Мухамедшахом Рахматуллиным, другом отца, которого последний приглашал в свое степное имение делать кумыс. Автор мемуаров с сожалением, но трезво и практично подытоживает:

В прежнее время у всех (башкир. – *К.А.*) были кочевки (кибитки), а теперь живут круглый год в зимовках (избах); прежде были большие табуны лошадей, а теперь есть башкиры совсем без лошадей; прежде десятки кочевок съезжались на свадьбы и праздники, съездали по несколько лошадей и много овец; бывали скачки, кумыс пили вволю, пели, играли на курае (род дудки) и на горле, а теперь башкиры обеднели и ничего этого нет [19. С. 36].

Причиной обеднения башкир было не только отнятие части их земель русской государственной властью для закрепления земель за русскими крестьянами и для награждения сановников. За выделом этих земель наделы башкир были все-таки гораздо больше крестьянских. Причиной обеднения и даже вымирания башкир была неприспособленность их к земледельческому образу жизни [19. С. 37].

Такое понимание колонизации степи повлияло на внедрённые в историко-политические блоки романа «Анна Каренина» рассуждения о миссии русского крестьянства. В споре со сторонниками технического, утилитарного реформаторства (тема, навеянная волновавшим Толстого в течение всех 1870-х гг. и как бы «параллельным» «Анне Карениной» замыслом романа об эпохе Петра I¹) – Вронским, Свяжским и другими «западниками» романа Константин Лёвин сначала обдумывает, а потом и высказывает выношенное им соображение, что русский народ, имеющий призвание заселять и обрабатывать огромные незанятые пространства сознательно, до тех пор, пока все земли не заняты, держался нужных для этого приемов и что эти приемы совсем не так дурны, как это обыкновенно думают [21. С. 362].

Через некоторое время мысль повторяется:

¹ О нём см. подробнее в специальной статье А.М. Панченко [20].

...русский рабочий имеет совершенно особенный от других народов взгляд на землю. И чтобы доказать это положение, он (Лёвин. – К.А.) поторопился прибавить, что, по его мнению, этот взгляд русского народа вытекает из сознания им своего призвания заселить огромные, незанятые пространства на востоке [22. С. 255].

И хотя упоминания о русских мужиках и «инородцах» в «Анне Карениной» не случайно соединены – споры об орошении крестьянских полей и размещении инородцев звучат в одних и тех же пассажах повествователя, в этой истории продвижения на восток оказывается один отчетливо лишний элемент – власть, персонифицированная в образе А.А. Каренина.

Глубина толстовского анализа проявляется, например, в том, что никакие чиновничьи лихоимства, о которых было много шума в оппозиционной печати тех лет, писателя не интересуют – его герой честный, умный и работоспособный администратор. Вместе с тем трагедия его личности, причина будущего саморазрушения открываются из роковой, отчасти бессознательной приверженности к властвованию, понимающей романистом не как простая способность указывать и повелевать, а тот самый «стиль интеллектуального обладания», выражающийся в продуцировании знаков, письма или того, что Толстой, формируя концептуальный стержень образа Каренина, в чисто семиотическом ключе назвал «отражениями жизни» [21. С. 151].

Ориентализм как «интеллектуальная власть», по общеизвестному слову Саида [23. С. 35], зависящего здесь от М. Фуко, набрасывал сеть знаков, тех самых «отражений», на свой объект, описывал, классифицировал и, по этой логике, подчинял его. При этом не только интеллектуальная «механика», но сама психология того, что после Саида именуется ориентализмом, представлялась Толстому универсальной, всеобъемлющей. В этой перспективе отношение Каренина-отца к его сыну Сереже является характерно ориенталистским – безотносительно к отсутствующему факту этнической дистанции.

Блестящие нежностью и весельем глаза Сережи потухли и опустились под взглядом отца. Это был тот самый, давно знакомый тон, с которым отец всегда относился к нему и к которому Сережа научился уже подделываться. Отец всегда говорил с ним – так чувствовал Сережа – как будто он обращался к какому-то воображаемому им мальчику, одному из таких, какие бывают в книжках, но совсем

не похожему на Сережу. И Сережа всегда с отцом старался притвориться этим самым книжным мальчиком [22. С. 96].

Доминирование над объектом и воображение его свойств на основе книжных образцов – со стороны властного субъекта; подчинение и приспособление к транслируемому образцу – со стороны подчиненного объекта; книга (что характерно – Библия) как ложный посредник в квазиобщении между тем и другим – по этим чисто ориенталистским лекалам автор романа рисует сцену детского одиночества и отцовской мстительной, «дисциплинирующей» любви. В тот же смысловой контур внедрена и одна из решающих сцен романа, в которой фигурируют неназванные восточные инородцы, перипетии судьбы которых заимствованы Толстым из жизни поволжских и приуральских башкир.

Впервые на страницах романа инородцы знаково появляются в центральный момент перелома в истории Анны и, как следствие, в композиционном ритме всего романа. После символически многозначной и во многом кульминационной сцены скачек, падения Вронского, гибели лошади Фру-Фру и признания Анны мужу в неверности автор надолго покидает трех главных героев сюжетной линии Анны и интерполирует рассказ о них выдержанными в духе спокойного бытописания сценами лечения Кити на водах в Европе и деревенских будней Лёвина. Возвращение к трагическому узлу романа происходит позднее – приемом резкого наведения повествовательной оптики на А.А. Каренина, решающего в тиши своего кабинета дальнейшую судьбу неверной жены, всё более и более превращающейся с этих пор в жертву.

Все интересующие нас фрагменты обрамлены одним навязчивым действием Каренина – чтением и письмом¹. Именно здесь, в отношении к этой черте героя приуральские башкиры приобретают крайне важную функциональную отмеченность. Значимость письма как одной из ключевых толстовских идеологем была характерно опознана именно исследователями имперских нарративов. Так, одной из первых на этот аспект образной поэтики писателя обратила внимание С. Лейтон, анализировавшая повесть «Хаджи-Мурат» и отметившая, что в ней «...возвышена стихия устной речи кавказцев и русских крестьян и, напротив, письменное слово дискредити-

¹ Общую картину письма как метатекстуальной практики в «Анне Карениной» см. в работе Н.Е. Меднис [24]. Данной статье, впрочем, предшествовали более детальные исследования проблемы: [25–26].

ровано ввиду его сращенности с бесчеловечными структурами государства» [4. С. 264]. Исследовательница полагает, что в «Хаджи-Мурате» Толстой особенно настойчиво «понижает значение письменного слова как ложного медиатора, одновременно повышая статус устной речи как проводника высшей правды» [4. С. 274]. Описанная С. Лейтон тенденция со всей очевидностью проявила себя задолго до «Хаджи-Мурата».

В первой группе эквивалентных соответствий чтение соединяется с самыми зловещими символами толстовского романа – сталью, ножом и разрезанием. Так, сразу же после открытия ему женой ее связи с Вронским Каренин обращается к *написанию* письма Анне о том, что «семья не может быть разрушена по капризу, произволу или даже преступлению одного из супругов» [21. С. 299], а также к *чтению*, к которому, издавна рассматривая его как «привычку, сделавшуюся необходимостью» [21. С. 118], он приступает, вооружившись и «играя массивным ножом» [21. С. 300]. Нож, как мы знаем из целого ряда работ¹, отсылает к лейтмотивной линии разрезания тела, организующей весь сюжет Анны, – от момента гибели станционного сторожа до ее собственной смерти под колесами товарного поезда. На пути из Москвы домой незадолго до случившегося на станции Бологое объяснения ей Вронским в любви Анна также читает книгу. В ее руках нож. Отвлечшись, она «провела разрезным ножом по стеклу, потом приложила его гладкую и холодную поверхность к щеке и чуть вслух не засмеялась от радости, вдруг беспричинно овладевшей ею» [21. С. 107].

Вторая смысловая составляющая этой группы мотивов – семиотическая. Чтение, письмо и в целом вся организуемая ими жизнь описываются как *подмена* или, используя концептуальный язык романа, – «отражение». Особенно явственно эта мысль Толстого предстает в повествовательном соотнесении обеих сцен, которые обнаруживают связь – невзирая на большую дистанцию между ними. Углубляясь в читаемый роман², Анна, внутренне невольно уже вставшая на путь будущей измены и саморазрушения, ощущает, что ей «неприятно было читать, то есть следить за *отражением жизни*

¹ О семантике расчлененного тела в «Анне Карениной» см. раздел в книге О. Матич [27. С. 48–53]. Специально об образе разрезного ножа и семантике разрезания см. замечания Б. Лённkvист [28. С. 22–23; 26] и Э. Мэнделькер [29. С. 136–137]. Последний автор считает нож символическим атрибутом самого Каренина.

² Исследователь предполагает, что читаемый Анной текст сконструирован из общих мест романов Энтони Троллопа и Эллен Вуд. См.: [30].

других людей. Ей слишком самой хотелось жить» [21. С. 106]. Увлеченная своими чувствами, она в конечном счете «не могла понимать того, что читала» [21. С. 107].

Знаковые формы, измерение вполне чуждое Анне, вовлеченность в которое губит ее, является, напротив, естественной средой обитания Каренина. Написав письмо жене, он погружается в чтение новой книги о «евгюбических надписях» [21. С. 300]. Комментатор романа Э.Г. Бабаев пояснил, что это «таблицы на умбрийском диалекте, найденные в 1444 г. в городе Gubbio (Италия), который в средние века назывался Eugubbium» [31. С. 488]. То есть в руках Каренина – текст о тексте, знак о знаках, *отражение отражения*, если воспользоваться словом самого Толстого как метаописательным понятием. Параллелизм комментируемых сцен вновь дает о себе знать: как и Анна, утратившая в определенный момент эмоциональный контакт с английским романом, Каренин, постигающий тайны «евгюбических надписей», «смотрел в книгу и думал о другом» [21. С. 300]. Но если «другим» для Анны была жизнь, зарождающаяся, хотя пока еще безадресная страсть, то для Алексея Александровича «другим» были в этот момент пропущенные сквозь жернова бюрократического языка башкирские степняки – орошение «полей Зарайской губернии» и «устройство» тамошних «инородцев». С упоением, «с чуть заметной улыбкой самодовольства» [21. С. 301] Каренин переходит от чтения к письму – другому излюбленному им занятию, фетишизация которого дошла до страсти к самим письменным принадлежностям. Например, в сцене у адвоката упомянуты «письменные принадлежности, до которых Алексей Александрович был большой охотник». Специально подчеркнута причина любопытства: они «были необыкновенно хороши» [21. С. 385]. Так и в данный момент: он «вынул из стойки карандаш» [21. С. 301] и сначала ознакомился с делом, а потом принялся набрасывать свой план его решения, состоящий точно из пяти пунктов и опирающийся на документы за № 17015 и 18308 «от 5 декабря 1863 года и 7 июня 1864» [21. С. 302]. Канцелярская детализация здесь, конечно, злая ирония автора, голос которого на мгновение соединился с диктующим самому себе свои письма Карениным. Сеть параграфов, цифр, дат документов и номеров законов – инструмент власти, описывающей, классифицирующей и подчиняющей. Необходимым условием в реализации этой стратегии является, по М. Фуко, *знание*. Без знания об «инородцах» и их землях, требующих

или, наоборот, не требующих орошения, отправление Алексеем Александровичем его службы делалось невозможным.

Отдельный вопрос здесь: как же мыслилось самому Толстому общение между имперской администрацией и этнографически, профессионально и хозяйственно неоднородной периферией? – прежде всего как *непосредственный* контакт. Продолжая развивать башкирскую тему, романист мельком говорит, что степняки сами направились в Петербург с желанием поведать о своих нуждах, ибо, как это понял еще Каренин, из созданного о них вороха бумаг так и не стало ясным, «действительно ли бедствуют и погибают инородцы, или процветают» [21. С. 391]. Власть и знание разошлись в разные стороны, а стопки исписанных документов, относящихся к ним, превратились в знаки без актуального содержания, новые «евгюбические надписи». «Вздор и только исписанная бумага» – так охарактеризованы в кульминационный момент схватки Каренина со Стремовым донесения комиссии с мест [21. С. 391].

В противовес Каренин сам предпринимает попытку сблизиться с предметом своего интереса: он решается на поездку в восточные области государства. «...Испросив разрешение, Алексей Александрович отправился в дальние губернии» [21. С. 391]. Однако инородцы встречены героем уже в Москве. Закономерно, что сцену общения с ними Толстой освещает как столкновение непосредственного и опосредованного типов коммуникации¹. Так, инородцы «...были наивно уверены, что их дело состоит в том, чтоб излагать свои нужды и *настоящее положение вещей, прося помощи* правительства...» [21. С. 397]. Однако Карениным общение с башкирами сразу же конвертируется в характерно ориенталистскую ситуацию писания *о них*, но при этом *за них* и *вместо них*, когда имперский чиновник присваивал себе субъектность инородца и выступал от лица нового фиктивного субъекта. Посредующей инстанцией, как нетрудно понять, выступало здесь, как и в предыдущих случаях, письмо, т.е. практика производства знаков. «Алексей Александрович долго возился с ними, *написал им программу*, из которой они не должны были выходить, и, отпустив их, *написал письма в Петербург* для направления депутации» [21. С. 397].

Причем в строгом соответствии с правилами поэтики «сцеплений», теоретизированными Толстым именно в ходе создания «Анны Карениной», семантический контур ориентализированного объекта

¹ О поэтике коммуникации у Толстого см. в работе О.В. Сливичкой [32].

расширяется, и читатель замечает, что в функционально схожей роли перед ним предстает и неверная жена Алексея Александровича. Вся долгая история с инородцами оттеняет смысловой стержень романа, с которого в начале 1870-х гг. и начал развиваться его замысел: отношение обманутого мужа к изменившей ему жене. Дело в том, что на той же странице, на которой автор возвращается к злоключениям депутации башкир, он сообщает о том, что Каренин, пытаясь найти выход из тупика отношений с Анной, договорился с адвокатом и «перевел это дело *жизни* в дело *бумажное*» [21. С. 397]. «Жизнь» здесь, конечно, концептуальное понятие, заставляющее вспомнить об «отражениях жизни» как основе образа Каренина. Так, башкирская тема делается неотъемлемым участником главной психологической, духовной драмы романа.

Любопытно, что, осмысливая семантику письма, Толстой «сшивает» две разнородные реальности – фикционального текста и аутентичного житнетекста: мотивы из романа вторгаются в его частную переписку середины – конца 1870-х гг. Так, саму повседневную практику создания текста «Анны Карениной», *писание* как инструментальное слагаемое творчества, Толстой противопоставлял своим жизнестроительным экспериментам в степи. 2 августа 1875 г. не без некоторого вызова он сообщал Н.Н. Страхову: «Мы приехали 3-го дня (из Самары. – К.А.) благополучно. Я не брал в руки пера два месяца и очень доволен этим. Берусь теперь за скучную, пошлую Анну Каренину и молю бога только о том, чтобы он дал силы спихнуть ее как можно скорее с рук...» [33. С. 197]. В письме к Фету мысль повторена: «Я два месяца не пачкал рук чернилами и сердца мыслями, теперь же берусь за скучную, пошлую Каренину...» [33. С. 199]. Последний образ прямо перекликается с более поздним замечанием из записной книжки 1879 г.: «Не затем родились люди, чтобы чернилами на бумаге установить свою веру, а затем, чтобы жить в правде и чистоте» [13. С. 255]. «Чернила», «пачкающие» «руки» и «бумагу», негативно маркируют всю символическую сферу ума, мысли, социальности в целом, т.е. ту сферу, в которой, не будем забывать, локализована и фигура автора. Очевидно, однако, что художник создает не в последнюю очередь автобиографический роман: Лёвин – несомненное *alter ego* Толстого. Где локализуется этот персонаж в системе намеченных писателем противопоставлений?

Особый интерес для нас представляет знаменитая сцена общения Лёвина с Облонским в ресторане – сцена, как представляется, выпи-

санная при помощи активно задействованного здесь постколониального «словаря»¹. В качестве одной из повторяющихся характеристик своего автобиографического героя Толстым выбрана *дикость*. В разговоре, который демонстрирует всё несходство Облонского и Лёвина, Стива, пригласивший своего друга разделить его изысканную и дорогую трапезу, заявляет ему: «Ты и так дик. Все вы, Лёвины, дики» [21. С. 40]. В окружающем эту фразу диалоге слово «дикий» произнесено около десяти раз.

Долго и подробно описываемое Толстым чревоугодие Стивы обслуживается официантом-татаринном, предстающим здесь в качестве «субалтерна», как называют такие фигуры в постколониальных исследованиях. В фокусе толстовского анализа оказывается язык общения служителя трактира с его клиентом. Кулинарные приоритеты Облонского – чисто западные, а точнее – французские. Приказания он отдает по-русски, а татарин, характерно мимикрируя, переводит заказ Облонского на привычный самому клиенту французский язык – структурно этот прием напоминает нам уже знакомую сцену обучения Карениным Сережи, в которой ребенок, чтобы угодить дисциплинирующему намерению отца, надевал на себя поведенческую маску «книжного мальчика». Так и здесь: «Татарин, вспомнив манеру Степана Аркадьича не называть кушанья по французской карте, не повторял за ним, но доставил себе удовольствие повторить весь заказ по карте: “суп прентаньер, тюрбо сос Бомарше, пулард а лестрагон, маседуан де фрюи...”» [21. С. 38].

Черты «субалтерна» в образе татарина-официанта подчеркнуты: «Облонский снял пальто и со шляпой набекрень прошел в столовую, отдавая приказания липнувшим к нему татарам во фраках и с салфетками»; «Сюда, ваше сиятельство <...>, – говорил особенно липнувший старый, белесый татарин с широким тазом и расходившимися над ним фалдами фрака» [21. С. 37]. Не желая присоединяться к галломанской кулинарной страсти Облонского, Лёвин заявляет, что ему «лучше всего щи и каша» [21. С. 38]. Официант, однако, немедленно конвертирует замечание своего клиента в гибридную русско-французскую форму, давая понять читателю, что позиция субалтерна – в заранее отведенной ему ячейке именно европоцентристского мира: «Кашу а ля русс, прикажете? – сказал татарин, как няня над ребенком, нагибаясь над

¹ Психологический и лингвистический комментарий к ней см. в книге Б. Лёнквист [28. С. 74–75].

Лёвиным» [21. С. 38]. Знаменательно, что в первой редакции романа Толстым специально подчеркнут языковой пуризм Лёвина (тогда еще – Ордынцева), нежелание общаться на гибридной смеси языков. «Ордынцев отвечал и говорил по-французски замечательно изящным языком и выговором и не так, как его собеседник, перемешивая русский с французским. Заметен был некоторый педантизм в том, что он, раз решив, что глупо мешать два языка, отчетливо говорил на том или на другом» [34. С. 692]¹. Как нетрудно понять, структурная позиция, являющаяся наиболее ущемленной в разговорах Лёвина с Облонским и официантом, – это позиция России и всего русского, которые, с одной стороны, в перспективе ориенталистского описания и контроля превращаются в «а ля рюсс» точно так же, как татарин делается «французским» грамотеем в европейском фраке с фалдами, а с другой – в перспективе Облонского, представляющего здесь Европу, определяются как «дикость».

Итак, анализ подсказывает, что одним из звеньев, интегрирующих двусюжетное строение «Анны Карениной», является группа мотивов, в которых установление государственного контроля над имперскими перифериями представлено как характерно ориенталистские описание и систематизация. Особенностью романа является расширение автором смысловых и композиционных возможностей образов «иностранцев»: в едином функциональном контуре «описываемых» оказываются и башкиры «Зарайской губернии», и русские мужики, технологические эксперименты над которыми ставит землевладелец Вронский, и в конечном счете сам Лёвин, ищущий возможность отказаться от реформизма, продолжающего сценарий форсированной модернизации (не будем забывать здесь о не покидавшей творческую память Толстого в 1870-е гг. фигуре Петра I). Отталкиваясь от интереса работника, способствовать положению, «при котором народ будет богаче, будет больше досуга, – и тогда будут и школы» [21. С. 356], а не наоборот – этот критерий социального, но одновременно и нравственного отношения к человеку позволял Толстому типологически объединить, но при этом и критически переосмыслить ключевые составляющие власти – семейной, экономической и имперской.

¹ «Не менять беспрестанно разговора с французского на русский и с русского на французский» было одним из самых ранних правил, сформулированных Толстым в дневнике лично для себя [35. С. 40].

В сознании Толстого башкиры наследовали образам казаков и кавказцев, а в перспективе «Хаджи-Мурата» оказывались посредующим звеном при возвращении романиста к его давней теме естественного человека. Выступая, как правило, в роли этнографических декораций нравоучительной истории (рассказы «Много ли человеку земли нужно» и «Ильяс»), концептуальным значением степные аборигены наделяются в «Анне Карениной», где читатель видит их в положении сообщества, подконтрольного имперской администрации, причем герой, реализующий замыслы этой администрации, дискредитируется.

Не будучи столь ярко индивидуализированы, как герои-«кавказцы», башкиры локализовались на эстетической «карте» толстовского наследия вдалеке от романтической экзотики «кавказского» образца. По этой причине опыт пребывания в степи давал художнику возможность запустить излюбленный им алгоритм металитературной рефлексии, заключающейся в стремлении выйти за рамки обременяющей литературную деятельность условности. «Есть литература литературы – когда предмет литературы есть не сама жизнь, а литература жизни, и литература литературы 999/1000 всего пишущегося», – отметил романист 26 ноября 1871 г. [13. С. 112]. И если воспроизведение Кавказа, подчиненное мощной литературной инерции, таковую условность заставляло острять и преодолевать, то башкирская степь, не имея своих романтических описателей («Капитанская дочка» и «История Пугачева» Пушкина предстают здесь исключениями, лишь подтверждающими это правило), делалась пространством контрлитературных поведенческих экспериментов; «кумысное состояние» [14. С. 199] начинало предвещать будущее опрощение. Данное обстоятельство обусловило локализацию башкирской темы у Толстого преимущественно в сфере эго-документальных текстов. В фундаментально важной для писателя истории осмысления им своего *Я* башкиры оказывались в непосредственной близости от авторской личности.

Литература

1. *Россия и степной мир Евразии: очерки* / под ред. Ю.В. Кривошеева. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2006. 432 с.

2. *Ремезов Н.В. Очерки из жизни дикой Башкирии: Переселенческая эпопея*. М., 1889. 260 с.

3. Ремезов Н.В. Очерки из жизни дикой Башкирии: Быль в сказочной стране. М., 1889. 306 с.
4. Layton S. Russian Literature and Empire. Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 372 с.
5. Успенский Б.А. Пушкин и Толстой: тема Кавказа // Успенский Б.А. Историко-филологические очерки. М., 2004. С. 27–48.
6. Рахимкулов М.Г. «Башкиры меня знают и очень уважают...» // Рахимкулов М.Г. Любовь моя – Башкирия. Литературно-краеведческие очерки. Уфа., 1985. С. 90–130.
7. Перчик Л.С. «Сплелись корнями наши племена...»: (Лев Толстой и Башкирия). Челябинск, 1996. 125 с.
8. Юнусов И.Ш. Национальное и инациональное в русской прозе второй половины XIX века (И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, Л.Н. Толстой). СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2002. 399 с.
9. Юнусов И.Ш. Постигание чужого в творчестве Л.Н. Толстого: учеб. пособие. Москва; Бирск: Бирский гос. пед. ин-т, 2002. 70 с.
10. Бунин И.А. Освобождение Толстого // Собр. соч.: в 6 т. М., 1988. Т. 6. С. 5–145.
11. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. М., 1957. Т. 23. 583 с.
12. Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М.: Новое лит. обозрение, 2003. 567 с.
13. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. М., 1952. Т. 48. 538 с.
14. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. М., 1938. Т. 83. 635 с.
15. Нефедов Ф.Д. На кумысе (из впечатлений и рассказов) // Нефедов Ф.Д. В горах и степях Башкирии: Повесть и рассказы. Уфа, 1988. С. 118–133.
16. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. М., 1936. Т. 26. 949 с.
17. Морозов В.С. Воспоминания о Л.Н. Толстом. М.: Посредник, 1917. 136 с.
18. Берс С.А. Воспоминания о графе Л.Н. Толстом. Смоленск, 1894. 81 с.
19. Толстой С.Л. Очерки былого. 3-е изд., испр. и доп. Тула: Приок. кн. изд-во, 1968. 500 с.
20. Панченко А.М. «Народная модель» истории в набросках Толстого о Петровской эпохе // Л.Н. Толстой и русская литературно-общественная мысль. Л., 1979. С. 66–84.
21. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. М., 1934. Т. 18. 557 с.
22. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. М., 1935. Т. 19. 518 с.
23. Саид Э. Ориентализм: Западные концепции Востока. СПб.: Русский мир, 2006. 637 с.
24. Меднис Н.Е. Письмо в повествовательной ткани и в сюжете романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» // Поэтика русской литературы в историко-культурном контексте. Новосибирск, 2008. С. 411–420.
25. Caroll T. Sports / Writing and Tolstoy's Critique of Male Authority in *Anna Karenina* // Tolstoy Studies Journal. 1990. Vol. 3. P. 21–32.
26. Weir J. Anna Incommunicada: Language and Consciousness in *Anna Karenina* // Tolstoy Studies Journal. 1995–1996. Vol. 8. P. 99–111.
27. Матич О. Эротическая утопия: новое религиозное сознание и fin de siècle в России. М.: Новое лит. обозрение, 2008. 400 с.
28. Лёнквист Б. Путешествие вглубь романа. Лев Толстой: Анна Каренина. М.: Языки славянской культуры, 2010. 128 с.

29. Mandelker A. Framing Anna Karenina. Tolstoy, the Woman Question, and the Victorian Novel. Columbus: Ohio State University Press, 1993. 241 p.

30. Cruise E. Tracking the English Novel in *Anna Karenina*: who Wrote the English Novel that Anna Reads? // Anniversary Essays on Tolstoy / Ed. by D.T. Orwin. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. P. 159–182.

31. Бабаев Э.Г. Комментарий // Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 22 т. М., 1981. Т. 8. С. 478–494.

32. Сливацкая О.В. «Война и мир»: человеческое общение как поэзия и как проблема // Сливацкая О.В. «Истина в движении»: О человеке в мире Толстого. СПб., 2009. С. 61–304.

33. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. М., 1953. Т. 62. 572 с.

34. Толстой Л.Н. Анна Каренина / изд. подгот. В.А. Жданов, Э.Е. Зайденшнур. М.: Наука, 1970. 912 с.

35. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. М., 1937. Т. 46. 573 с.

«...IN A TATTERED WAGON, AMID CHICKENS AND KIND BASHKIRS»: LEO TOLSTOY INVERTS WESTERN ORIENTALISM (CREATIVITY AND LIFE-CREATIVITY IN THE BASHKIR STEPPE)»

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2017, 1(7), pp. 142–165. DOI: 10.17223/24099554/7/9

Kirill V. Anisimov, Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russian Federation), Institute of History and Archaeology, Ural Branch of RAS (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: kianisimov2009@yandex.ru

Keywords: Leo Tolstoy, *Anna Karenina*, life-creativity, orientalism, postcolonialism, hybridization, semiotics, narratology, metatext.

The paper is prepared within the integration project of the UrB RAS “Formation of National Art Systems of Perm Literatures in the Sociocultural Landscape of Russia at the end of the 19th – in the first half of the 20th centuries”.

In the time of Alexander II’s Great Reforms the Russian settlers’ advance in the regions of the Volga and the southern Urals presupposed the inclusion of territories, where Bashkirs were leading their nomadic life, into the regimes of administrative distribution and buy / sell operations. The takeover of these lands was permitted by a special Order that was issued on Feb. 10, 1869. Hence, the frontier spaces which by that time had been submitted to the special forms of imperial control were now equated with the so called “internal governorates”. However, the whole process was slow and full of contradictions because of numerous violations that were accompanying the substitution of the “natural” way of life with administrative compulsion and cruel economic rationalism. Tolstoy’s comprehension of these realities was directed along two ways: firstly, to the artistic representation (the novel *Anna Karenina* and a number of short stories based on the Bashkir theme) and, secondly, to the elaboration of the symbolic gesticulation of a man who was systematically practicing summer voyages, unexpected in the cultural context of the time, to the steppe for medical treatment with kumis and, as Tolstoy himself put it later, for living a “zoological life”. This preoccupation with “zoological life” was represented as a procession of theatrical scenes overtly directed to the external observer who could see the situations of changing dress with the following confusion of social statuses and experiments with corporality expressed in physical competitions with the Bashkirs (wrestling, swimming,

horse race). The introduction of the Bashkir experience into the narrative was regulated by the general understanding of colonization as an impersonal “relocation” (“obtaining places is the only purpose of history”) of peoples when the role of the authorities was symbolically abolished by the author. The embodiment of this ideological concept in the narrative of *Anna Karenina*, firstly, brought into action one metatextual device that had already been noticed by literary scholars – discredit of a character who is adherent to writing, scripting, “paper affairs” which are juxtaposed to the “affairs of life”. Secondly, in the semiotic perspective the question is about Tolstoy’s polemics with the very principle of how sign forms conceived by the novelist as “reflections of life” are produced. The entwining of the theme of aborigines who live in the concocted “Zaraysk Governorate” (which never existed in reality) with this philosophic and aesthetic discussion, the immersion of Alexei Karenin, the main incarnation of power in the novel, in the problems of nomads – all this converts a number of corresponding episodes of the narration into situations that resemble postcolonial writing and its pivotal themes – seeking an authentic identity, experiencing hybridisation, collision of diverse social and behavioural languages.

References

1. Krivosheev, Yu.V. (ed.) (2006) *Rossiya i stepnoy mir Evrazii. Ocherki* [Russia and the steppe world of Eurasia. Essays]. St. Petersburg: St. Petersburg State University.
2. Remezov, N.V. (1889) *Ocherki iz zhizni dikoy Bashkirii. Pereselencheskaya epopeya* [Essays from the life of wild Bashkiria. The resettlement epic]. Moscow: Tovarishestvo I.N. Kushnerev i K°.
3. Remezov, N.V. (1889) *Ocherki iz zhizni dikoy Bashkirii. Byl' v skazochnoy strane* [Essays from the life of wild Bashkiria. Events in a fairytale country]. Moscow: Tovarishestvo I.N. Kushnerev i K°.
4. Layton, S. (1994) *Russian Literature and Empire. Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy*. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Uspenskiy, B.A. (2004) Pushkin i Tolstoy: tema Kavkaza [Pushkin and Tolstoy: the theme of the Caucasus]. In: Uspenskiy, B.A. *Istoriko-filologicheskie ocherki* [Historical and philological essays]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
6. Rakhimkulov, M.G. (1985) “Bashkiry menya znayut i ochen' uvazhayut...” [“The Bashkirs know me and respect me very much . . .”]. In: Rakhimkulov, M.G. *Lyubov' moya – Bashkiriya. Literaturno-kraevedcheskie ocherki* [My love, Bashkiria. Literary and regional studies essays]. Ufa: Bashkirskoe knizhnoe izdatel'stvo.
7. Perchik, L.S. (1996) “Splelis' kornyami nashi plemena...” (*Lev Tolstoy i Bashkiriya*) [“The roots of our tribes intertwined . . .” (Leo Tolstoy and Bashkiria)]. Chelyabinsk: ChGIK.
8. Yunusov, I.Sh. (2002) *Natsional'noe i inonatsional'noe v russkoy proze vtoroy poloviny XIX veka (I.S. Turgenev, I.A. Goncharov, L.N. Tolstoy)* [The national and the foreign in the Russian prose of the second half of the 19th century (I.S. Turgenev, I.A. Goncharov, L.N. Tolstoy)]. St. Petersburg: Herzen Russian State Pedagogical University.
9. Yunusov, I.Sh. (2002) *Postizhenie chuzhogo v tvorchestve L.N. Tolstogo* [Comprehension of the alien in the creativity of L.N. Tolstoy]. Moscow; Birsk: Birsk State University.
10. Bunin, I.A. (1988) Osvobozhdenie Tolstogo [Liberation of Tolstoy]. In: Bunin, I.A. *Sobr. soch.: v 6 t.* [Works: in 6 vols]. Vol. 6. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.

11. Tolstoy, L.N. (1957) *Poln. sobr. soch.: v 90 t.* [Complete Works: in 90 vols]. Vol. 23. Moscow: GIKhL.
12. Vul'f, L. (2003) *Izobretaya Vostochnuyu Evropu: Karta tsivilizatsii v soznanii epokhi Prosveshcheniya* [Inventing Eastern Europe: A map of civilization in the consciousness of the Enlightenment]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
13. Tolstoy, L.N. (1952) *Poln. sobr. soch.: v 90 t.* [Complete Works: in 90 vols]. Vol. 48. Moscow: GIKhL.
14. Tolstoy, L.N. (1938) *Poln. sobr. soch.: v 90 t.* [Complete Works: in 90 vols]. Vol. 83. Moscow: GIKhL.
15. Nefedov, F.D. (1988) Na kumyse (iz vpechatleniy i rasskazov) [On kumis (from impressions and stories)]. In: Nefedov, F.D. *V gorakh i stepyakh Bashkirii. Povest' i rasskazy* [In the mountains and steppes of Bashkortostan. Stories]. Ufa: Bashkirskoe knizhnoe izdatel'stvo.
16. Tolstoy, L.N. (1936) *Poln. sobr. soch.: v 90 t.* [Complete Works: in 90 vols]. Vol. 26. Moscow: GIKhL.
17. Morozov, V.S. (1917) *Vospominaniya o L.N. Tolstom* [Memories of L.N. Tolstoy]. Moscow: Posrednik.
18. Bers, S.A. (1894) *Vospominaniya o grafe L.N. Tolstom* [Memories of L.N. Tolstoy]. Smolensk: Tipo-litografiya F.V. Zel'dovich.
19. Tolstoy, S.L. (1968) *Ocherki bylogo* [Essays of the past]. 3rd ed. Tula: Priokskoe knizhnoe izdatel'stvo.
20. Panchenko, A.M. (1979) "Narodnaya model'" istorii v nabroskakh Tolstogo o Petrovskoy epokhe [The "People's Model" of history in Tolstoy's essays about the Petrine Era]. In: Galagan, G.Ya. & Prutskova, N.I. (eds) *L.N. Tolstoy i russkaya literaturno-obshchestvennaya mysl'* [L.N. Tolstoy and Russian literary-social thought]. Leningrad: Nauka.
21. Tolstoy, L.N. (1934) *Poln. sobr. soch.: v 90 t.* [Complete Works: in 90 vols]. Vol. 18. Moscow: GIKhL.
22. Tolstoy, L.N. (1935) *Poln. sobr. soch.: v 90 t.* [Complete Works: in 90 vols]. Vol. 19. Moscow: GIKhL.
23. Said, E. (2006) *Orientalizm. Zapadnye kontseptsii Vostoka* [Orientalism. Western concepts of the East]. Translated from English St. Petersburg: Russkiy mir.
24. Mednis, N.E. (2008) Pis'mo v povestvovatel'noy tkani i v syuzhete romana L.N. Tolstogo "Anna Karenina" [A letter in the narrative fabric and in the plot of Anna Karenina by L.N. Tolstoy]. In: Porkrovskiy, N.N. & Silant'ev, I.V. (eds) *Poetika russkoy literatury v istoriko-kul'turnom kontekste* [Poetics of Russian literature in the historical and cultural context]. Novosibirsk: Nauka.
25. Caroll, T. (1990) Sports / Writing and Tolstoy's Critique of Male Authority in Anna Karenina. *Tolstoy Studies Journal*. 3. pp. 21–32.
26. Weir, J. (1995–1996) Anna Incommunicada: Language and Consciousness in Anna Karenina. *Tolstoy Studies Journal*. 8. pp. 99–111.
27. Matich, O. (2008) *Eroticheskaya utopiya: novoe religioznoe soznanie i fin de siècle v Rossii* [Erotic Utopia: a new religious consciousness and the fin de siècle in Russia]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
28. Lönnqvist, B. (2010) *Puteshestvie vglub' romana. Lev Tolstoy: Anna Karenina* [Journey into the depths of the novel. Leo Tolstoy: Anna Karenina]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
29. Mandelker, A. (1993) *Framing Anna Karenina. Tolstoy, the Woman Question, and the Victorian Novel*. Columbus: Ohio State University Press.

30. Cruise, E. (2010) Tracking the English Novel in *Anna Karenina*: who Wrote the English Novel that Anna Reads? In: Orwin, D.T. (ed.). *Anniversary Essays on Tolstoy*. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 159–182.
31. Babaev, E.G. (1981) Kommentariy [Commentary]. In: Tolstoy, L.N. *Sobr. soch.: v 22 t.* [Works: in 22 vols]. Vol. 8. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
32. Slivitskaya, O.V. (2009) “Voyna i mir”: chelovecheskoe obshchenie kak poeziya i kak problema [War and Peace: human communication as poetry and as a problem]. In: Slivitskaya, O.V. (2009) “*Istina v dvizhen’i*”: *O cheloveke v mire Tolstogo* [“Truth in movement”: About a man in the world of Tolstoy]. St. Petersburg: Amfor.
33. Tolstoy, L.N. (1953) *Poln. sobr. soch.: v 90 t.* [Complete Works: in 90 vols]. Vol. 62. Moscow: GIKhL.
34. Tolstoy, L.N. (1970) *Anna Karenina*. Moscow: Nauka. (In Russian).
35. Tolstoy, L.N. (1937) *Poln. sobr. soch.: v 90 t.* [Complete Works: in 90 vols]. Vol. 46. Moscow: GIKhL.